

Александр Астраханцев

## Проигрыши

Главы из романа

Главным героем своего второго подпольного романа, «Одинокого волка», Николай Мякишев сделал парня, вернувшегося с афганской войны (тут надо отметить, что, в отличие от романов об «афганцах», наводнивших книжный рынок позднее, в 90-х и 2000-х годах, «Одинокий волк» был написан одним из первых (если не первым?), в советское время, где-то в начале (или, может быть, в середине) 80-х годов, когда тема была ещё совершенно закрытой для публикаций. И не только сама тема, но и то, о чём рассказано в романе дальше, тоже было под запретом (да много ли было тем, не бывших в те годы запретными?).

Итак, даём его синопсис: главный герой, вчерашний школьник, восемнадцатилетний Олег, ещё не определившийся в жизни молодой человек, уходит в армию, попадает в составе десантных войск в Афганистан и через два года возвращается домой, в родной город, с изуродованным осколком мины лицом. Несмотря на доброе отношение к парню родителей: слава Богу, что хотя бы живым вернулся и почти невредимым (кроме, разве что, изуродованного лица, с которого, как известно, «не воду пить»), — парень начинает с горечью понимать в свои двадцать, что из-за этого лица может быть изуродована вся его будущая жизнь. Во всяком случае, девица, с которой он «дружил» до армии, от него отвернулась. Ему бы благодарить судьбу, что оберегла его от легкой мысли дуры, — а парень принял этот разрыв за роковой удар судьбы.

Одновременно, отоспавшись и отойдя от той жизни, что уже успела «пропахать» его, где вместе с бронезином постоянно, день за днём, носишь в себе сосущее чувство страха и предощущение нежданной встречи с болью и смертью и где ещё продолжали калечиться и гибнуть его *брательники* по службе, встретился он и с *дружбанами*, что остались в городе. И теперь — с высоты той жизни — эти, городские, стали настолько ему чужими, что он понял: больше встреч с ними уже не будет без риска оставить свои следы на их чистых личиках — у них, как и два года назад, в голове лишь *шмотки*, *лейблы*, *непыльная работёнка* официантами в ресторане или продавцами на какой-нибудь «базе», «отмазки» от армии, страх

и перед «Афганом», и перед любой работой, где надо *вкалывать*...

В это самое время в глухой, полузаброшенной деревне на берегу большой таёжной реки умирает в полном одиночестве его бабушка, брошенная разъехавшимися по городам детьми и внуками. После бабушки остался большой, старый и при этом вполне добротный бревенчатый дом; однако продать его в деревне невозможно — их, таких брошенных домов, там и так уже полно; в то же время никто из бабушкиных потомков возвращаться в деревню на жительство не хочет. Олег бывал там в детстве, и детские воспоминания о том доме, о бабушке и о деревне (надо заметить, что описания этих воспоминаний занимают лучшие страницы романа, — значит, автор всё-таки был знатоком детской души и мастером детской книги) оставили в юном ветеране впечатление удивительной тишины и несчетного бытия людей среди природы, а, как известно, детские впечатления остаются в нас самыми яркими, манят нас потом всю жизнь и вводят в некую метафизическую тоску — как увиденный однажды в детстве и потом навсегда потерянный рай. Бедный, полунищий, но — светлый, прекрасный рай!

И вот молодой герой «Одинокого волка», съездив туда и поучаствовав в похоронах бабушки, решает оставить родителей и враз осточертевший ему город и остаться жить в той деревне, решительно прощается с родителями, обрывает все городские связи и поселяется в опустевшем доме.

Но надо же на что-то жить, а потому он решает поступить работать государственным инспектором рыбоохраны. И хотя он ещё совсем молод и неопытен и в жизни, и в совершенно новом для него занятии, его охотно берут туда как ветерана-«афганца», так что, ставши фактически единственным хозяином на участке реки длиной в полсотни километров, он начинает основательно обживать: постепенно обзаводится дюралевой лодкой, мощным лодочным мотором «Вихрь», ружьём, приводит в порядок дом, охотится, рыбачит, борется с местными браконьерами, с удовольствием копается в свободное время в огороде, а зимой читает книги...

Но при взгляде издали (тем более из города и из двухлетней солдатчины) полная тишины

и благостного сельского покоя деревенская жизнь, когда окупёшься в неё глубже, оборачивается своей новой, жестокой стороной: местные жители подозрительны и недоверчивы к чужаку; мужики, оставляя своё домашнее хозяйство на попечение жён, с весны до осени занимаются рыбной ловлей, лишь её считая настоящим мужским занятием, причём ловят рыбу только браконьерскими снастями — сетями и самоловами, — а зимой всё свободное от браконьерства время заняты лишь тем, что готовят браконьерские снасти, да ещё гонят и пьют самогон, и точно знают, что жить по-иному просто нет смысла... Местные браконьеры — а деревенские мужики, все без исключения, только ими и являются — норовят подкупить молодого инспектора рыбоохраны по дешёвке: «выставить пузырь» самогона и напоить, — а когда он отказывается, мелко ему пакостят: крадут и портят его снасти, дырявят лодку... Ему даже кличку дали: «волчара», — и стали намекать, а то и угрожать исподтишка, что добром он не кончит: когда-нибудь «пообломают рога»... Но молодой инспектор спокойно сносит все их пакости, а угрозы их его не трогают — слишком многого он уже успел наглядеться и натерпеться на своём, пока ещё коротком, веку и хорошо усвоил инструкции перед приёмом на работу.

Как известно, солдаты, кроме травм телесных, неизбежно приносят с войны ещё и душевные травмы, которые порой, особенно ночами, ноют сильнее травм телесных... Живя теперь в деревне и будучи с утра до вечера занят, он как-то быстро привык к своему изуродованному лицу; да и селяне, видя его каждый день, тоже довольно быстро привыкли к нему такому. А вот душевные его травмы ежедневного риска, страха и постоянного ожидания смерти там, на войне, боли от ранения, от хирургических операций и от первоначальных переживаний своей уродливости, — эти травмы заживали куда медленней. Но — странное дело! — работа инспектора, хлопотная, рискованная, увлекающая его настолько, что в каждом нарушителе он готов был видеть врага, которого надо не просто предупредить и остановить, как его наставляли, а непременно поймать и изобличить! — именно эта работа настолько увлекала его азартом, что, исполняя её истово, он совершенно избавлялся от всех своих былых душевных травм, казавшихся теперь страшно далёкими, даже смешными и ничтожными.

Особенно трудно ему было вживаться в деревенский быт поначалу; однако в течение года отношения его с селянами понемногу, с трудом, но сглаживаются, хотя бы внешне: сквозь недоверие и злобу в людях начинает просвечивать уважение к нему за его твёрдость и честность, невиданную здесь до сей поры. Его полюбила местная девушка, и всё у них «по-честному». Однако успевший

обжечь не только лицо, но и душу парень боится *лохануться*: желая проверить и себя, и её, он не торопится сближаться с ней, осторожничают; за внешней бравадой и грубоватостью он даже не уверен в себе, робок и неумел: лишь гуляния по ночному селу, сиденье на речном берегу и — неумелые душевные разговоры, которых он раньше никогда ни с кем не вёл, — травма от измены городской девицы всё-таки бесследно не прошла.

Его отношения с девушкой осложняются тем, что отец её, тоже когда-то, в молодости, десантник, служивший на китайской границе, даже участвовавший там в боевых действиях и получивший медаль «За отвагу», — самый удачливый в деревне браконьер, хитрый и сметливый, хотя и не лишённый своеобразного — примитивного и грубоватого — джентльменства. Просто этого старого десантника заставляют *крутиться* на реке привычка жить «как все» и отчаянное самолюбие: почему это он, родившийся и выросший здесь, не может быть законным хозяином реки и ему *качает права приезжий сопляк?*..

У браконьера завязывается с молодым инспектором сложный клубок отношений: борьба самолюбий, постоянное соперничество и состязание в ловкости, хитрости и скорости реакций. И когда инспектор в этом состязании побеждает — уязвлённый браконьер, грубый и насмешливый, своеобразно мстит ему: то, дразня инспектора за несмелость на любовном поприще (а может, и из желания поторопить события?), зовёт его «зятком», то, напившись, вызывает на жестокие споры. Честно-то говоря, старому браконьеру-десантнику желалось бы не *базарить* с молодым инспектором на повышенных тонах, а просто калякать по душам — чтобы отмяк, расслабился этот ершистый чужак, весь как жёсткая стальная пружина, причём браконьер видит в нём себя самого, каким был когда-то: отчаянным, бесстрашным, а главное, честным, — но что-то в молодом инспекторе, там, где душа, *зачичеревело*, застыло, затвердело — не растопить, не расплавить никаким душевным словом, тем более — корявым и нескладным. Браконьер, хлебнув «для разговора» самогона, злит и заводит неподатливого инспектора:

— Ну вот чё ты, паря, везде лезешь? Больше всех надо, чё ли? Государству служишь? А нужен ты ему, этому государству? Смотри, нарываешься, в жмурки со смертью играешь — ох, прилетит!  
— Может, и играю, — хмуро отвечал инспектор. — А вам-то что?

— А то, что ты ещё пацан, настоящей жизни не видал!

— Я, может, побольше вашего видал.

— Чё ты видал? Чё видал? — заводился браконьер. — Как стреляют, видал? Затмение у тебя в мозгах, вот чё я тебе скажу! С людьми уметь жить надо!  
— Да вам-то что от того, чего мне надо?

— Ну ты чё такой-то, чё долбишься в одно место, как дятел всё равно? — злился браконьер. — Дурачок ты! Я тебе добра желаю! Не видишь, как люди живут? Ну на фиг тебе этот «принцип»? Ни мужикам, ни начальству, ни себе самому! Да над твоим «принципом» все, кому не лень, потешаются: «Во приехало чудо заморское!» — тебя тут даже не русским, а каким-то иностранцем считают! А тебе это надо, да?.. — все зудил браконьер, убеждая, что надо только вид делать, *козью морду* — как все рыбинспектора на реке до него; на том жизнь построена...

Но молодой инспектор не давал втягивать себя в *базар* — отвергал напрочь советы браконьера, на вопросы отвечал коротко: «да» или «нет», — и смотрел, не мигая, светлыми глазами в лёгком, без улыбок, прищуре на пьяного браконьера, поигрывая желваками на скулах, — а потом продолжал бесстрашно делать своё дело. Как-то не по-русски, в самом деле, это было, непривычно для деревни; машинным, железным холодом несло за километр от его несговорчивости. Презирал он их, что ли? *Выёживался?* Нарочно нарывался? Или уж настолько тупой и *убитый*, что ничем не прорвётся?..

А между тем «тестюшко»-браконьер, сам не шибко-то водясь с деревенскими мужиками, возносясь перед ними из-за своей боевой молодости, своей лихости и ловкости не по возрасту, всё больше увязал в непонятных отношениях с твёрдым, как листовяжный сутунок, молодым рыбинспектором. Недели не проходило, чтобы не зашёл «на огонёк», будто нечаянно, да ещё под шофе, — *побазарить*, заявляя с подмигом, что «взял шефство» над ним, «воспитать хочет», — но молодой инспектор был по-прежнему твёрд: отвечал только по делу, а то и вовсе помалкивал, будто знал что-то такое, чего *не в жилу* знать говоруноу-браконьеру, и не умел ни откровенничать, ни жаловаться, хотя, может, ему в деревне и было потруднее всех... Отдувался, молот за обоим языком гость-браконьер, то жалуясь на собственную судьбу, то поучая, то насмехаясь над парнем, — хотя и понимал, что ничему парня уже не научишь: *сдвинутый, шизанутый*, — сам того не желая, браконьер выказывал перед ним слабость и злился за это и на себя, и на него...

Задиристый и болтливый, не умея при этом быть красноречивым и всё-таки жалея парня и желая быть ему товарищем и советчиком, всем своим бестолковым естеством браконьер подказывал ему, умолял, протягивал руку: доверься, поверь, смотри добрее, учись жить!.. Хоть тут и деревня, тайга и река и столько свободы, что хоть режь её ножом и ешь с маслом, — а одиночке тут всё равно не выжить: затравят, потому как всё равно всё тут общее — даже тайга, даже река; и все давно уже, чуть не с рождения, а то и того раньше — с дедов-прадедов, определились, с кем и в каком

*долге* жить, как и в каком месте рыбачить, — а он, молодой, ничего понять в этом не может... Но парень, будто обухом ушибленный, отвергал начисто руку помощи: где-то отбили ему, что ли, напрочь орган, отвечающий за доверие к людям?.. Так и тянулся этот поединок характеров, должный чем-то когда-нибудь разрешиться.

А тем временем настаёт поздняя осень с северными резкими ветрами, от которых некуда увернуться на реке, с нудными ненастями, ранним снегом, падающим ночами, а днём стаивающим, с ледяными *заберегами* на воде, рассыпающимися вдребезги прозрачными хрусткими льдинками шуги; именно тогда начинается время самой кипучей, драматически насыщенной жизни на реке: крупная рыба скатывается в глубокие ямы на дне реки на зимовку. Ямы эти испокон века известны и рыбакам, и инспекторам... Местные браконьеры изготовились к главному акту браконьерства, против которого всё легче браконьерство — детская забава: они живут в лодках или в потаённых *берложках* по берегам, прячутся на островах или в глухих протоках и неделями не спят, чтобы в самую тёмную пору ночи приступить к этому главному акту года, работая в кромешной тьме, как сапёры, наощупь, расставляя поздно вечером, в холоде, почти в темноте, снасти, — а ранёхонько утречком, едва проклюнется заря, пока инспектор свои молодые сны досматривает, вытащить эту самую снасть вместе с уловом, рискуя при этом лодками, снастями и самой жизнью, — а потом изобретательно прячут улов в дерюжных мешках по глухим протокам, чтобы незаметно привезти этот улов домой, засолить, накоптить — и продать нахлынувшим отовсюду городским перекупщикам...

Естественно, у инспектора в эту пору хлопот на порядок больше: он каждый день, без выходных, барражирует по пятидесятикилометровому участку, уже наизусть зная и его географию, и все браконьерские хитрости, уловки и повадки, и места их стоянок, и характер каждого в отдельности браконьера, действуя главным образом актом своего присутствия, лишь в крайних случаях штрафует или даже конфискуя запрещённые снасти: невода, сети, самоловы, а то и взрывчатку.

Но что местные браконьеры, пойманные на месте преступления с дюжиной ли стерлядок, с полупудовым ли осетром или тайменем, когда за душой у каждого семья и долговая запись в магазине, против хорошо при этом моторизованных, экипированных и вооружённых, хапающих рыбу тоннами, наглых и самоуверенных браконьеров районных и городских, держащих местных рыбаков и инспекторов *за фуфло*?

Рыбинспектор уже не однажды успел столкнуться и с этими, районными и городскими, причём гнать их с участка для него было делом чести: —

за ним ревниво следили вездесущие глаза браконьеров местных; от них на реке не укрыться, она для них будто деревенская улица: пукни на одном конце— тут же известно на другом; дай потачку чужому— от своих не отобьёшься...

Первая серьёзная команда браконьеров, с которой он столкнулся той осенью, свалилась прямо с неба: вертолёт сел на прибрежный песок в десятке вёрст от деревни— гости решили, что глуше места уже нет, и целая ватага их, похоже, из вояк: в камуфляже, но без знаков отличия,— почти по-домашнему стала выгружать снасти, ящики с водкой, ставить палатки, надувать лодки, запаливать костёр и заваривать уху из ещё не пойманной рыбы... Инспектор нагрянул минут через сорок и, отрекомендовавшись, вежливо спросил, чем и как они собираются ловить. Гости снисходительно предложили ему сначала бутылку, потом, уважив за упрямство,— ящик водки. И, ни о чём так и не столковавшись, старший из них, костеря его в Бога и в душу мать, скомандовал своим:

— Сварачиваемся, полетели дальше— с этим бараном каши не сваришь!

— «Вот и валите, ищите овечек, раз с бараном не сладишь!»— махал им на прощанье рукой рыб-инспектор...

Другая команда оказалась серьёзнее: их было всего четверо, но мужики, сразу видать, упёртые; на двух машинах: огромный джип и автофургон-морозилка,— и экипировка классная: режёвая ставная сеть чуть не через всю реку, огромная десантная надувная лодка-катамаран с мощным двигателем, и никаких тебе костров и палаток— и козе понятно, что приехали не отдохнуть, а работать; да уж, видно, и попотеть успели: когда он потребовал открыть фургон, заглянуть, что там есть,— отказались наотрез, вместо этого предъявив разрешение на отлов опытной партии осетров «для полевых исследований». Разрешение было откровенной *липой*, и он его изъял. Гости затребовали его обратно— видно, им очень не хотелось эту *липу* отдавать; да оно и понятно: какие-то там значились фамилии, чья-то расплывчатая синяя печать; начались стандартные уговоры: бутылка, ящик... Потом перешли к угрозам: кто он, вообще, такой против них? Да знает ли он, кто они такие? Да самому районному прокурору и начальнику милиции *не запаadlo* с ними за одним столом сидеть, а начальник районной рыбоохраны перед ними *на цырлах* ходит и водку подносит...

Инспектор твёрдо и вежливо отвечал им на это, что они для него, независимо от знакомства с прокурорами, такие же граждане, как и все, и законы обязаны соблюдать... Отношения накалялись; команда *борзела*: пыталась его обступить, чтобы навалиться разом, разоружить и отобрать своё разрешение, а он, не давая себя обступать,

тихонько отходил к воде, к своей лодке. К тому же затемнил, как один из них достал из джипа карабин.— Знаешь что, «красавец»?— наконец, отбрасывая условности и намекая на его искалеченное лицо, чтобы задеть побольнее, заявил самый наглый— коновод, видно.— Всё равно ведь по-твоюму не будет. Давай-ка, пока цел, по-хорошему: верни разрешение— оно не для тебя писано— и гуляй!..

Инспектору уже некуда было отступать— оттеснили к самой воде; он впрыгнул в свою лодку, оттолкнулся от берега, завёл двигатель и крикнул им:

— Нет, господа, здесь всё равно будет не по-вашему!— взвёл курки и изрешетил зарядом дробы из обоих стволов надувной катамаран, из которого тут же со всхлипами начал выходить воздух; дюралка же инспектора легко рванула с места и понеслась прочь.

— Стреляй, т-твою мать!— зорал коновод державшему карабин; тот припал на колено, прицелился и три раз подряд выстрелил в удаляющуюся лодку.

Силуэт инспектора, видневшийся над лодкой, исчез... Может, упал на дно, чтоб не задело? Но почему-то лодка сразу сбилась с курса, сделала странный вираж на воде и пошла косо вниз по течению, пока тупо не врезалась в песчаную отмель на другом берегу, за длинным, заросшим ивняком островом в двух километрах ниже от злополучной стоянки чужаков, и не замерла...

«Тесть», занятый в тот день своими браконьерскими делами вдали от чужих глаз, в глухой протоке за тем самым *длинным* островом, услышал выстрелы. Он видел с утра машины на противоположном берегу, большую десантную лодку и сеть, которой перегораживали реку. «Нехилая команда— среди дня орудует,— подумал он.— И „зятёк“ куда-то как раз пропал. Матёрые, видать,— не по зубам ему».

Только подумал так, а «зятёк» уже вот он; далеко по реке слышно— зудит надсадно его «Вихрь»: мчит, значит, поддаёт газу— с чьей-то услужливой подачи, или просто плановая проверка?.. «Тесть» увидел затем, как инспектор проскочил мимо устья протоки на своей дюралке— только голубой служебный выпелок Госрыбоохраны, закреплённый на её корме, мелькнул и исчез. «Ну, сейчас начнётся,— подумал он.— И ладненько; можно пока самому спокойно делом заняться— у „зятька“ сейчас запарка будет»...

И вот— минут двадцать прошло, не больше,— слышит: двустовка дуплетом бабахнула, а следом— уже из карабина пол-обоймы высадили; слух у браконьера был наметанный, и звуки эти он различал отлично. «Ох, не к добру расстрелялись!»— подумал, и на душе его стало тревожно.

Реакция старого десантника сработала мгновенно: бросил снасть как есть, быстренько, но— и соблюдая осторожность: тихо, не включая мотора,— на вёслах причалил лодку к узкому, заросшему

ивняком острову, отгородившему протоку от главного русла реки, быстро пробрался сквозь густой ивняк — глянуть, в чём там дело, и видит издалика: инспекторская лодка без седока пишет фигуры на воде; потом всё-таки пересекла главное русло, прошла наискось и ткнулась в отмель далеко на песчаном траверсе острова. Машины на том берегу, прямо напротив, стояли всё так же, а возле самой воды суетились люди: видно было, как вытаскивают из воды громоздкое, размякшее оранжевое тело резинового катамарана... «Тестю», кажется, стало понятно, что там произошло; скорее всего вернулся в свою лодку, проплыл, уже на моторе, вдоль всего острова, до самой песчаной сырой косы на траверсе, пристал, по-хозяйски вытащил свою лодку из воды на песок. Дюралька инспектора легко покачивалась на песчаной же отмели по ту сторону косы, метрах в двадцати. «Тесть» поддёрнул свои резиновые бродни выше колен и ступил в воду...

Инспектор Олег, долговязый, в общем-то, парень, лежал на дне лодки ничком, странно уменьшившись в росте, с поджатыми коленями и крепко обхватив грудь руками крест-накрест — как озябший пацан, чтоб согреться, только — с залитой кровью телогрейкой и струйкой розовой пены изо рта, и уже остывал. Долго же он испытывал свою судьбу! Нашёл, наконец; успокоился... И закалённый браконьер, стоя над ним, закусив губу и сглатывая застрявший в горле горький, невпродох, ком, с гримасой горечи и каким-то звериным рычанием заскрипел зубами... Затем, встряхнувшись, решительно взялся за Олегову дюральку с телом: протаскил её несколько метров по отмели и, словно игрушечную, легко выволок на песок, да — повыше, чтобы не стащило случайной крутой волной обратно. Затем вернулся к своей лодке, стащил в воду, завёл мотор, сплавился вниз по течению, обогнул косу, пересёк главное русло и уткнулся в противоположный берег в хорошо знакомом заливишке. Деловито вытащил из воды лодку, достал из носового люка старенькую свою двустволку с треснутым и туго перетянутым синей изолентой цевьём, затем — патронташ, перепоясался им — всё это не торопясь, однако при этом сноровисто и быстро, — и двинулся напрямик через поросший лесом бугор — туда, где машины.

Уже надвигались долгие, медленные осенние сумерки, усугублённые сырой погодой, но дальнейшее зрение у него пока что ещё работало прилично: увидел метров с двухсот, из-за кустов, как те вчетвером пытаются теперь вытащить на берег сеть. Странно: где же их фирменная лодка? Была ведь, сам видел... Тащили-тащили сеть — да только как же с такой махиной без лодки? — бросили и начали сворачивать лагерь, укладывая всё в фургон и что-то торопливо закапывая в песок. Теперь надо было только их задержать: уйдут сейчас — струсили, зайцы.

Подойти ближе не получится; стреляли явно из военного карабина; а лишние свидетели им, понятное дело, ни к чему. И место между ним и ними голое, ближе не подобраться, а отсюда двустволка не достанет...

Меж тем скоро стемнеет; надо торопиться. Он перебрал патроны в патронташе; те, что с пулями и картечью, расположил спереди — чтоб были под рукой, подтянул патронташ покрепче, закинул за спину ружьё и — напрямик в тайгу...

На той единственной лесной дороге, по которой те поедут, было только одно место, где можно их задержать: мостик через ручей, а перед мостиком — дорожная выемка в глинистом высоком берегу... В распоряжении у него оставалось минут двадцать.

Идти по тайге, да ещё в сумерках, — это не по дороге шагать; хорошо, что ему в том дуроломе едва ли не каждый пенёк был знаком. Хотя темнело довольно быстро, но он успел: только вышел, уже почти в темноте, к выемке и расположился наверху откоса, в густом невысоком соснячке, а они — уже вот они, перед мостиком, в этой самой выемке, — осторожно спускаются к мостику, подсвечивая корявую дорожку фарами: позади фургон, а впереди, в свете его фар — посверкивающий чёрным лаком и никелем большой иностранный джип. Осторожно едут, объезжают колдобины — берегут дорогую технику.

Он стрелял почти наверняка, метров с тридцати, сверху. Намеревался только по колёсам. Переднее у джипа прострелил сразу — заметно по свету фар, как тот дёрнулся и завихлял. А вместо заднего попал, видно, в бензобак — да-а, посочувствовал сам себе, что-то зрение стало всё чаще подводить! — бензин явно брызнул на выхлопную трубу; джип вспыхнул, как пороховой, и из него с воплями выскочили двое. Ну а уж фургону колёса прошить при свете такого факела — вообще пара пустяков. И, сделав своё дело, «тесть» тем же путём подался обратно, слыша сзади вопли, ругань и беспорядочную пальбу в глухую темь...

Только к полуночи он пригнал лодку с телом инспектора в деревню и сразу позвонил из конторы лесоучастка, что размещался в деревне, в головной леспромхоз, который никак не смогут миновать «гости», если только ещё сумеют залатать в темноте баллоны автофургона и ехать дальше: чтоб задержали (в леспромхозе был свой милицейский пункт) да чтоб передали об убитом ими рыбинспекторе в районную милицию.

Однако гостей там так и не задержали — порворонили: видно, те проскочили раньше, чем он позвонил. Или никому не было нужды задерживать их?

Их потом разыскали... Следствие тянулось больше года, хотя всё было ясно как божий день. Менялись следователи, и постепенно менялись местами «тесть»-свидетель и обвиняемые; кто-то

очень уж хотел их *отмазать*, и следователи с адвокатами старались вовсю; в результате получилось, что рыбинспектор стрелял в них и собирался убить; главным *вещдоком* служил в хлам продырявленный дробью катамаран; труп инспектора откапывали снова и повторно освидетельствовали, и смертельная винтовочная пуля из его тела была извлечена и приложена к делу, и была предъявлена дюралевая инспекторская лодка с простреленным бортом и со следами крови в ней; а судили свидетеля-«тестя»: было точно доказано, что стрелял в них, городских рыбаков-любителей, из чувства мести он, этот злобный деревенский браконьер, и не попал в них только из-за темноты; да ещё дорогой служебный джип иностранного происхождения заодно сжёг. *Вломили под завязку*— семь лет: за самосуд, за порчу в самом деле страшно дорогого государственного имущества (на суде фигурировала справка о его стоимости, произведшая на всех огромное впечатление) и за покушение на самое дорогое— на жизнь четверых горожан, случайно оказавшихся компанией авторитетных советских руководителей разных рангов; не смог бедолага-браконьер доказать, что не покушался, а всего лишь хотел задержать компанию хотя бы до утра... Чужаки же в ходе следствия превратились из убийц в несчастных, потерпевших и от злого браконьера, и от злодея-инспектора... И столько свидетелей нашлось— подтвердить, что молодой рыбинспектор и в самом деле был *ишизанутым*: «Да он бы нас всех там поубивал!.. Зверь зверем, и морда вся в шрамах!.. Ну да ведь *Афган* прошёл, на голову контуженный... Вон какой бугай вымахал— на местной-то рыбе, а ведь когда приехал— шкет шкетом был!.. И главное, не пил и ни у кого ничего брать не хотел, хоть и выглядел прямо-таки нищим— такой странный: явно ненормальный!..»

Теперь, когда вы знакомы с сюжетами двух мякишевских подпольных романов, то— точно так же, как, наверное, и я когда-то,— вполне можете задать резонный вопрос: отчего же в этих его романах столько критического внимания советским правоохранительной и судебной системам? Может, автор сам от них страдал, раз они вызвали в нём столько раздражения?

Я в своё время тоже пытался в этом разобраться и должен ответить на это: нет, прямого столкновения с этими системами в биографии Николая Мякишева я не нашёл,— но выяснил одну подробность: работая учителем в Предивном, первые три года там он снимал комнату у одного местного рыбака и охотника, вольного и строптивного человека с типичным, надо сказать, для сибиряка характером, каких нынче осталось— раз-два и обчёлся, да и то— лишь в самой глухой глубинке. Видимо, с того местного рыбака Мякишев и списал

потом браконьера в своём «Одиноким волке» (хотя, говорят, в Предивном таких мужиков в те годы, на беду начальству, хватало).

Поскольку тот реальный предивенский рыбак был строптив, то частенько попадал по части рыбной ловли— чаще всего, конечно же, незаконной— в конфликты с районными властями, потому как власти эти, конфискуя его браконьерскую добычу и снасти, сами нарушали всякие правила и законы, забирая всю его добычу и браконьерские снасти себе, и сами же потом использовали их, и он прекрасно это знал— так же как знали об этом не только все местные браконьеры, а весь, можно сказать, район.

Мякишев же, будучи в молодости активным поборником справедливости, с огромным желанием помогал своему квартирному хозяину сочинять объяснительные, оправдательные и даже обвинительные письма в самые разные инстанции, вплоть до всесоюзных, а поскольку слава о человеке— плохая ли или хорошая— разносится в селе мгновенно, к молодому учителю за помощью по поводу сочинения разных жалоб стало обращаться чуть ли не всё Предивное, и за семь лет своей жизни там он успел написать уйму их, защищая местного люд от притеснений райрыбинспекции, раймилиции, райпрокуратуры, райсуда и прочих «райских» источников власти, вплоть до самых главных: райкома партии и райисполкома. При этом ему, невольно ставшему главным защитником односельчан, частенько приходилось сталкиваться с представителями этой власти лицом к лицу, так что со всей этой районной системой власти он, надо думать, познакомился очень даже неплохо, а познакомившись— конечно же, не смог не относиться к ней весьма критически, тем более что её представители были хорошо заметны на общем фоне: если только он нагл, хамоват и самоуверен, толстопуз и краснолиц, да ещё благоухает неиссякаемым водочным перегаром,— тут, как говорится, и к бабке не ходи: это районный начальник из таёжной глубинки... Надо ли к этому добавлять ещё одну яркую деталь?— при объяснении с «народом» они не чурались мата— им, по простоте душевной, казалось, наверное, что мат невольно приближает их к народу.

Мякишев, конечно же, понимал, что начальники эти— никакие не враги, засланные из-за границы, чтобы изводить местный люд и портить ему жизнь; что они— плоть от плоти этого люда: такие же тёмные и неотёсанные; ведь они родились здесь, выучились в местной школе, уехали в города и получили там кое-какое высшее образование под знаком упрощённого марксизма.

Но не только марксизм— само освоение городской жизни давалось им с трудом. Уж это-то хорошо знал и сам писатель: конечно же, он прекрасно помнил, как сложно эти ребята осваивают

в городе даже такое, к примеру, простое техническое устройство, как унитаз, и в одном небольшом, лирическом, так сказать, отступлении в «Одном волке» поведал нам о том, как некоторые из этих ребят не знали в детстве даже примитивных деревенских уборных и привыкли справлять нужду в необъятных своих огородах прямо на перевозданно-чистом снегу, посреди бело-розовоголубого сияния зимней природы, или на зелёной травке, под щебет птах и стрекот кузнечиков, а потому—поведал дальше наш автор—стоит понять, сколько страхов и неудобств этим ребятам стоило на первых порах даже посещение обычной городской уборной: смущали их и напрягали чужие непривычные запахи, теснота кабины, в которой—не повернуться; смущал сам хитроумный аппарат, называемый «унитазом», глядя на который, неопит невольно задумывался о том, во-первых, как, с какого боку к нему подойти и как им пользоваться?—а во-вторых, каким образом его можно было бы использовать в деревенском хозяйстве?—но на ум ничего не приходило... Далее, пугал не только ревущий водопад в унитазе, который, казалось, сейчас вырвется, затопит уборную и окатит с ног до головы тебя самого; пугали и шумно наполняемый сливной бачок, и гудящие трубы вокруг... Далее, казалось кошунством пачкать рукодельную фаянсовую белизну унитаза: а ведь всем известно, что в уборной некогда решать умственные и душевные проблемы—её посещают, чтобы осуществить свои позывы немедленно,—так что сбитый с толку и напуганный неопит мог попервоначально ходить по малой и большой нужде только на пол, рядом с унитазом, а после этого, понимая, что делает что-то не то, норовил побыстрее выскользнуть оттуда, однако, выскользнув, тут же напарывался на новую проблему: его отлавливали уже знакомые с повадками деревенских первокурсников бдительные уборщицы со швабрами в руках и во всю грубую мощь своих голосов перевоспитывали, а порой и охаживали не успевших увернуться шваброй по спине. Так что, даже освоив унитаз и другие городские блага и получив городское образование, эти ребята, конечно же, на всю жизнь сохраняли тайную неприязнь к городу.

И как вы думаете—куда они уезжали по окончании вузов? Да конечно же, если и не в родное село, то, во всяком случае, в родную глубинку, горную ли, таёжную или степную, где пока ещё царила истинная свобода для простого, цельного человека,—и, растворяясь в ней, принимались править подчинённым людям по своим понятиям, считая этот люд своим законным данником—как жили на этой земле поколения их предков, завещая им жить так же, как жили сами... Мало того, с младенчества привыкнув жить одной командой, будь то в детсаду, школьном классе, пионерской

дружине или в комсомоле,—став теперь районными судьями, прокурорами, начальниками милиции, руководителями райкомов и райисполкомов, да непременно став перед этим ещё и коммунистами, они так и продолжали жить дальше: объединившись в одну дружную команду, где один за всех и все за одного,—причём дружные команды этих ребят, хорошо усвоив упрощённый марксизм, были уверены, что просто обязаны теперь жить в полном согласии с главным принципом коммунизма: работать—по возможности, а потреблять—по потребности,—и, в простоте своей, брали по потребности всё, что само идёт в руки, потихоньку обирая подвластный люд, окружающую природу и государство, тирания свой район и не желая делиться властью даже с областью, даже с Москвой...

Вот и ответьте мне после этого: насколько могло хватить впечатлений от того провинциального быта нашему писателю Николаю Мякишеву, прожившему семь лет в Предивном, посреди пышного великолепия действительно дивной сибирской природы? Смею вас заверить: впечатлений ему хватило надолго. Если не на всю жизнь.

Кстати, вы обратили внимание на то, что оба первых мякишевских романа носят «зоологические» названия? Что делать!—похоже, неизгладимое влияние на образ мышления нашего писателя наложило его биологическое образование; да и во всех проявлениях нашего *человеиника* он, видимо, слишком часто находил аналогии в природе; во всяком случае, зооморфные ассоциации в его творчестве требуют дополнительных исследований, которыми мы обещаем тоже когда-нибудь заняться... Вот и третий, последний его «взрослый» роман тоже имеет зоологическое название: «Жуки и бабочки»,—хотя действующие лица в нём—никакие не насекомые, а всего лишь люди, мужчины и женщины.

Причём, судя и по романному времени, описанному в нём, и по изображённым в нём реалиям, роман этот, по моим прикидкам, написан или в конце так называемого «периода застоя», буквально окрашенного грязно-багровыми красками его заката (одна череда в чём-то даже выглядевших комически похорон дремуче-дряхлах властителей страны чего стоит!)—или уже в начале перестройки, с не менее багрово-мрачными красками её восхода.

В пользу перестройки говорит одна интересная деталь в том романе: где-то уже ближе к финалу его (похоже, что сочинялся этот финал в самом конце 80-х годов XX века) автор не преминул вернуть в него абзац со смешным романном отступлением—о том, как во время этой самой перестройки, в теледиспуте советских женщин с американками, когда разговор у них дошёл до темы секса и одна наша категоричная дурёха (по повадке—явно

партийная функционерка) ляпнула во всеуслышанье на весь мир, что «секса у нас нет!», и как обе стороны, и советская, и американская, на целую минуту застыли в изумлении, не в силах комментировать этот тезис, в то время как едва ли не половина советских телезрителей — тех, что понимали, о чём речь, — в тот момент попадала со стульев от хохота, потому как у нас много чего тогда не было, но вот этого-то было всегда, как говорится, по завязку; ведь в те времена всеобщих запретов в стране по-настоящему-то были широко доступны народу лишь два вида развлечений: алкоголь и секс.

Хотя нет, вру: партийные лидеры страны того времени порой затеивали масштабную борьбу с пьянством, используя при этом единственную меру: «Запретить!» — однако запреты эти, конечно же, продержаться долго не могли из-за глухого протестного движения, — а вот запретить народу секс было слабó даже самым строгим начальникам-моралистам (хотя, может быть, они этого и желали бы — для укрепления коммунистической морали), так что народ никогда не упускал возможности предаться обоим этим развлечениям со всей неистовостью русской души.

Короче, в своих «Жуках и бабочках» Мякишев рассказал (заглянувши, сдаётся мне, в столь необъятную тему лишь краем глаза) о бытовавшей в советское время полуподпольной бытовой проституции, каковую обычно, плюнув на «Кодекс строителя коммунизма», практиковали в городах не профессиональные ресторанные и гостиничные проститутки, а всего лишь уставшие от ожидания личного счастья перезревшие девицы, одинокие женщины, брошенные мужьями матери-одиночки, вдовушки, которым надоело вдовствовать, а также «соломенные вдовы» тюремных сидельцев и любителей покорять дальние края, моря и океаны; словом, Сольвейг, готовой полжизни ждать своего непутёвого Пера Гюнта, из них никак не получалось; хорошо зная нравы своих мужей-покорителей, всегда готовых заодно, мимоходом, покорить ещё и всех встречных бабёнок, они и сами хотели покорять кого-нибудь, хотя бы на ночь, взамен своих мужей.

Днём все они были швеями, ткачихами, сборщицами на конвейерах, мелкими служащими, медсёстрами, лаборантками и так далее — а вечерами, под задорным девизом: «Жить-то надо, а жить-то не с кем!» — хаживали на «подработку» со скромной такой в три-пять рублей за вечер (цена бутылки водки, хорошего вина или дешёвенького коньяка в те годы), а то и «за просто так», даря себя на «вечерок» приятно на вид незнакомцу за плату в виде удовольствия разогнать скуку и получить свою часть маленькой утехи — потому как «клиентура» их тоже отнюдь не была богата и щедра: те же работяги, техники, рядовые инженеры... Правда, была ещё одна, и при этом большая,

категория жадной до маленьких утех публики: разного рода командированные, которых в те времена почему-то водилось везде несметное множество, — а уж они-то точно знали, куда себя деть вечером в чужом городе, если в карманах мало денег на профессиональных шлюх.

Видимо, эту потаённую сторону советской жизни неплохо знал и сам автор, довольно живо описывая в своих «Жуках и бабочках», как и в каких местах собиралась вечерами эта публика для встреч и знакомств.

Самая незамысловатая публика такого рода устраивала для этого настоящие всенародные гуляния или даже парады однодневных женихов и невест, в выходные дни под вечер заполняя собою, особенно в тёплое время года, центральные улицы и площади города. Более целеустремлённая — устраивала свои встречи в полутёмных аллеях парков, возле танцплощадок, в скверах неподалёку от центра или на благоустроенных набережных...

В местах этих встреч предусмотрительно ставили расставлены многочисленные крепкие и тяжёлые — дабы никаким хулиганам не под силу было сломать их или опрокинуть — скамьи со спинками, и на уличном жаргоне места эти именовались «пятакками», «пятаками», «бродвеями» или просто «бродом»... А потом, после знакомств, когда на город опускалась ночь, эта публика расплзалась парочками по тёмным углам тех же скверов, общественных садов, парков, набережных с кое-какой растительностью, и начинался простой, незамысловатый, без изысков, зато широкомащтабный народный секс, обильный и энергичный, от напора которого трещали и опрокидывались тяжёлые скамьи, шумели ночные кусты и качались деревья, — это были настоящие народные празднества ликующего на серых камнях городов эроса.

Зимой же, в морозы, эта публика чаще всего кучковалась в столовых, вечерами работавших как второразрядные вечерние кафе с самообслуживанием, где подавались самые незатейливые блюда, вроде винегрета и солёнки с луком, а в буфете бывал «на разлив» небогатый набор простеньких алкогольных напитков: вездесущий «Агдэм» или какая-нибудь мутная, местного производства, *бормотуха* с градусами под названием «Плодово-ягодное» (водку в таких заведениях не продавали ввиду отягчающих последствий: пьяных драк и пьяных же, до бесчувствия, тел под столами); играл там, *оттягиваясь* от души, небольшой, в три-четыре музыканта, самодеятельный оркестрик из местных *лабухов*-любителей, и даже пела иногда самодеятельная певичка, исполняя затрёпанную шлягеру тех времён, вроде «Мишки» («Мишка, Мишка, где твоя улыбка?...» — который слушатели, уставшие от простенького текста, вскоре переделывали на «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?») или «Миллиона алых роз»



(который слушатели, соответственно, передытали на «Миллион алых рож»), и устраивались танцульки — то есть даже не «танцульки», а просто топтание в обнимку на крохотной свободной площадке в четыре-пять квадратных метров; за столиками, рассчитанными на четверых, сидело по шесть-восемь человек; набивалось там полным-полно самого простецкого люда, и начиналось ежевечернее действо, достойное кисти Брейгеля-старшего, «мужицкого»... А в финале вся эта развесёлая публика, опять же, расплзалась парочками — куда придётся: по квартирам, у кого они имелись, или по квартирам с почасовым наймом, по койкам в многоместных комнатах общежитий, а то и вовсе по глухим городским углам, тёмным лестничным площадкам и подвалам... Причём для большинства простого люда занятие это — то бишь сидение, выпивка, танцульки, знакомства и затем расплзание парами — было, скорее, просто маленькими развлечениями среди унылой скуки провинциального города.

Но эта потаённая ночная жизнь города совершенно ускользала от внимания благополучного жителя, днём занятого на «приличной» работе, а вечером отдыхающего в своей благоустроенной квартире перед телевизором или в компании таких же, как сам, благополучных друзей, или чинно гуляющего с супругой «для моциона» по хорошо освещённой улице или центральной парковой аллее, или шествующего с нею же в театр; этот благополучный житель и не подозревал о той, ночной, жизни своего города — а ведь она не всегда бывала благополучной: случались там и ссоры, и драки (главное оружие в которых, если нет крепких кулаков, — пустая бутылка или карманный ножик), а то и убийства, и частенько засвечивались в этих происшествиях двойники Кармен, Хозе, Сони Мармеладовой, Феди Протасова, Челкаша и всего длиннющего ряда других неустроенных в личной жизни персонажей, обозначенных во всемирной истории литератур; однако засвечивались эти наши с вами земляки (в роли литературных двойников) лишь в милицейских протоколах, и там же истории их умирали навсегда, на свет божий никоим образом не просачиваясь.

Но откуда, можете спросить вы, знал эту потаённую жизнь города наш монашествующий, можно сказать, писатель Мякишев? Может, он всё-таки пользовался услугами этой потаённой жизни, судя по тому, как, видно, знал в ней толк?.. Не знаю! — твёрдо отвечаю я; во всяком случае, фактов, могущих как-то осветить этот вопрос, у меня — никаких... Хорошо; тогда, может

быть, он просто изучил эту тему на расстоянии, из любви, так сказать, к «правде жизни»? — спросите вы. Может быть, — отвечу я уклончиво, потому что установить это предположение точнее теперь уже не представляется возможным; но факт остаётся фактом: роман написан, и — с довольно убедительным знанием деталей.

Правда, есть ещё одна косвенная причина его близкого знакомства с бытовой жизнью простого люда: жил Мякишев не в «стерильно чистом» центре города, где обитали все остальные наши писатели, а в типичном «рабочем» районе, где эта бытовая жизнь, в том числе и ночная, пышно цвела и буйствовала.

Однако всё то, о чём я успел поведать про этот роман, — всего лишь его фон, а ведь в нём есть ещё и конкретные персонажи, и сюжет, энергично движущий действие... А сюжет таков: жили-были в одном городе три товарища с «приличными», интеллигентными профессиями (опять три товарища! — без этого вечного сюжета и Мякишев не смог обойтись), и всем троим на момент главного романного действия исполняется лет примерно под сорок, причём первый из них — журналист, второй — кандидат технических наук и при этом заведующий лабораторией в полузакрытом НИИ, а третий — доцент в техническом вузе и тоже, разумеется, кандидат наук.

Поскольку главное действующее лицо в романе — журналист, буквально пунктиром следует биографическая информация о нём. Верней, начинается закручиваться эта история даже не с него — а с детства его мамы, причём рассказ о ней начинается таким сказочным запевом: «Жила-была на свете умная, серьёзная девочка...» — а дальше — краткая, однако при этом и развёрнутая экспликация жизни этой девочки: выросла в глухом таёжном селе (похожем, кстати, на Предивное), и были у неё папа с мамой. Семья жила трудно, но дружно; все трое (включая дочку) много работали, кормились с маленького хозяйства, где главные хозяйственные единицы — огород да корова; правда, отец ещё промышлял рыбалкой. Но отцу такая жизнь однажды надоела; он *свалил* на Дальний Восток за заработками — и как в воду канул, так что маме вдвоём с дочкой жить стало ещё труднее. Но девочка была умна и старательна, хорошо училась в школе и составила себе твёрдый план на будущее: после школы непременно уехать в город, закончить институт, начать много зарабатывать, получить квартиру и забрать к себе мамочку — и тогда наконец-то они с ней станут счастливы...